

Наталья ВЕСЕЛОВА

СОЛОМЕННЫЙ ВДОВЕЦ

I

Напротив, далеко за Академией художеств, и еще дальше и правее — надо всей Петроградкой, в стремительно ярчавшем небе вдруг неведомым образом оказалась словно застывшая на лету со сложенными крыльями бесчисленная стая огромных черных птиц. Вот только что они с Кирой шли к зловеще багровеющему в теплой светлой ночи Эрмитажу через площадь Урицкого¹ — и небо было волнующе перламутровым и высоким, без намека на что-то пугающе чужеродное, не идущее городу, как черная фетровая шляпа не пошла бы сегодня к голубому крепдешиновому платью его жены. Жены... Какое странное слово применительно к Кирочке! Подождите-подождите — а он-то ведь — муж, выходит! Кровь бросилась Борису в голову, потому что именно сейчас, на подходе к мосту лейтенанта Шмидта², до него вдруг дошел неоспоримый факт, которому в одиннадцать часов утра наступившего воскресенья должно было исполниться ровно двадцать четыре часа: в субботу они действительно расписались в одном из районных загсов и даже получили на руки кремовую бумажку с гербом. Фиолетовые буквы, торопливо написанные невыспавшейся служащей, подтверждали со всей несомненностью, что они двое, Борис Александров и Кира Зуева, вступили вчера в самый что ни на есть законный брак...

— Зачем эти аэростаты? — прозвучал рядом удивленный и даже словно обиженный Кирочкин голос, и Борис, очнувшись, вздрогнул. — Вот кому, интересно, пришло в голову в такую чудную, такую теплую ночь... вернее, уже утро... затевать какие-то учения по ПВХО? Ну, хоть бы сегодня...

— Они же не знали, что у нас свадьба, дурочка... — Борис осторожно приобнял ее, ощутив под рукой модный плотный подплечник. — Вот если б знали — тогда, конечно...

— Иди ты! — Кира смущенно высвободилась и — закружилась по гранитным плитам, запрокинув голову, невесомая в своем первом «настоящем» платье и ловких черных туфельках. — Я — жена, я — жена, я — жена! — пропела она, размахивая крошечной, чуть побольше кошелька, сумочкой. — Как здорово! Правда?

— Конечно... — не совсем уверенно отозвался Борис и принужденно улыбнулся.

Бумажка о законном браке лежала в нагрудном кармане его нового пиджака; Кира хотела было положить в сумочку, но он решительно воспротивился — вдруг потеряет — и убрал в более надежное место. Свадебный ужин тоже состоялся, как тому и положено, — на Васильевском, где Кира жила с вдовой матерью-учительницей и двумя младшими сестрами — в комнате узкой и тесной, как тот зеленый троллейбус, что уж пять лет ходит, битком набитый гражданами, от улицы Красной до Красной³ же площади... Его-то мама, да и он сам, понятное дело, хотели праздновать в Смольном, в их большой светлой комнате при хозяйственной части, да только не удалось достать необходимое количество пропусков для гостей — а упрямая Кира обязательно желала

¹ Дворцовая площадь.

² Благовещенский мост.

³ Площадь Александра Невского.

видеть на свадьбе целый букет из своих писклявых однокурсниц в одинаковых белых сарафанчиках с голубыми пуговицами и резиновых тапочках, заботливо натертых зубным порошком, и тоже — представьте себе — на голубых пуговичках! Они хохотали и ели, ели и хохотали, иногда спохватываясь и вспоминая, что давно не кричали «Горько!» — и тогда старинная пыльная люстра под высоким потолком звенела от их пьяненького, но дружного визга. Редкие баритончики и несмелые молодые баски приятелей Бориса безнадежно тонули в девичьем, будто галочьем гвалте — и все, неутолимо голодные, вновь жадно кидались на невиданную дотоле еду. Это, конечно, мама расстаралась: она работала на раздаче в столовой северного, «секретарского» крыла Смольного, где питались, конечно, не секретарши, а именно секретари: горкома и горисполкома — ну, и начальники отделов, само собой. Секретарш — тех гнали в южное крыло для «аппарата», победнее и попроще. Да и не имело это значения, а важным было то, что даже в глухое, страшное и темное время войны с белофиннами, когда в ленинградских магазинах остались только хлеб и чай, да и за теми нужно было занимать очередь с ночи, в их с мамой уютно натопленной комнате всегда стоял меж оконных рам наваристый мясной суп, лежали свертки с ароматной колбасой, сливочное масло в красивой коричневой бумаге. По воскресеньям мама заставляла юного Борю съесть по два бутерброда с красной или черной икрой — он ненавидел и ту, и другую, но столовая ложка рыбьего жира, которой обычно грозила мать в случаях его «ломания», виделась гораздо более страшной, способной отвратительным послевкусием испоганить весь сияющий радостью выходной день... Но в день свадьбы эти бутерброды, к его удивлению, разлетелись раньше всего остального. «Ребята, имейте совесть, оставьте бутербродик жениху!» — трагически взывала, помнится, какая-то смутная «Людочка» — а он, смеша всех, скривил ужасную рожу и стал отмахивался обеими руками. «Борис, — в тот же миг на плечо ему со строгой лаской легла холодная, как у статуи в Летнем, рука тещи. — Возможно, это и не мое дело, но хочу напомнить вам, что вы — действительно жених. А в старое время жениху и невесте на свадьбе хмельного вообще не давали. В интересах потомства... Ну, вы меня понимаете...» Он покраснел так, что даже жарко стало, и тут же поймал испуганный Кирочкин взгляд: она, наверное, тоже подумала о неизбежном «потомстве» и успела представить себе заспиртованного уродца из Кунсткамеры. Они тогда вместе *это* увидели: просто завернули за угол и натолкнулись — и ему ли не помнить, какой ужас отражался в ее глазах, когда она пулей летела из музейного зала (он — следом) и бормотала на лету: «Это все он, отец его, пьяница проклятый, — откуда еще *такое* могло взяться...»

Борис засопел, дальше пил только сидро — и с каждой минутой ему делалось все больше и больше не по себе, к тому же гости начали понемногу собираться и, оставляя щедрые белые следы зубного порошка на полу, уходили шумными кампаниями — а парни еще и показывали ему за спиной девушек очень неприличные, но легко читаемые знаки, призывавшие «не робеть» и, уж конечно, «не подкачать». Но не робеть он не мог и вовсе не был уверен, что не подкачает. Бывая раньше в гостях у сокурсников, он, разумеется, как и все они, прикидывался «бывалым», скромно, но убедительно играя роль небрежно-опытного товарища, которому приелись легкие красивые победы. Роль его оказалась нетяжелой — судьба подсобила: в их коммунальной квартире в хозчасти Смольного раньше проживало семейство шофера какой-то горкомовской «шишки», и старший сын, шалопутный Санька Тараканов, имевший само собой разумеющуюся кличку, учился на врача: «выучить» детей по-настоящему, чтоб вырвались из обслуги, считалось среди простого, но много видевшего люда делом особой чести. Таракан посчитал своим долгом свысока просветить сосунка-соседа, одолжив ему как-то на ночь один из своих недоступных простым смертным медицинских учебников, снабженных вполне соцреалистическими иллюстрациями, где у хитроумно связанных и взнузданных простынями женщин, приготовленных «к малым гинекологическим операциям без хлороформирования», были педантично прописаны даже ресницы на туповато-спокойных лицах. Прячась от матери, ритмично всхрапывавшей за внушительным шкафом, Борис изучал дивную книгу с помощью не раз выручавшего и раньше фонарика в крошечной тьме одеяловой норы, изредка опасливо высывая плававшую голову, чтобы глотнуть свежего воздуха, а утром, вполне теоретически образованным молодым человеком, спокойно и крепко заснул на полчасика, спрятав сокровище под подушку... Было это давно, еще в школе, но плоды принесло изумительные: теперь в его бывалости никто из окружения и не думал сомневаться — ведь Борька умел при случае козырнуть такими ошеломительными подробностями, каких и представить не мог никто из действительно успевших наскоро надкусить еще зеленый запретный плод друзей — студентов Технологического института.

Но вся интрига состояла в том, что теория так пока и оставалась теорией: пусть Борис и убеждал себя день ото дня старательней, что «Байрон тоже был хромым — и ничего», но приблизиться с определенной целью к любой, даже наидоступнейшей де-

вушке — своей ныряющей, словно заранее извиняющейся за несуществующие грехи походкой, — он не смог бы даже под угрозой немедленного расстрела как врага народа. Пусть уж лучше стреляют — только не увидят еще раз такого же полупрезрительного, полужалостливого взгляда, какой кинула на него несколько лет назад серая мышка (специально выбрал неизбалованную!) Людка Быкова, когда он, кругами прохаживая вокруг нее месяц, собрался, наконец, с духом пригласить ее на новую звуковую картину «Волга-Волга»...

Ему было пятнадцать, когда в бывшем Таврическом саду, ныне носившем гордое название Парка культуры и отдыха имени Первой пятилетки, торжественно открылся первый в Ленинграде роликовый каток, красиво именованный «скетинг-рингом». Он и теперь, зажмурив глаза, мог в подробностях представить себе те дурацкие плакаты с толстой стриженной брюнеткой в красной кофте и на роликах, словно лягающей мощной «задней» ногой на колесах крошечную мужскую фигурку в белом... «Скетинг радиофицирован, — сообщала черная надпись у «передней» ноги. — Буфет с прохладительн. напитками». Да, да — и такая смешная деталь навечно приклеилась к доверчивым мозгам: окончание «-ыми» то ли не влезло, то ли посчитано было лишним... Обещали еще с каждой афишной тумбы и какие-то «всевозможные танцы и пр.» под руководством роликобежца-виртуоза Кочкурова... «Кроликобежца! — много лет слышал потом во сне Борис незамысловатый каламбур одноклассника. — Бегает, наверно, как кролик!» На бывшей Думе пробило восемь — «скетинг» как раз открывался — и в ту же секунду лихо подкатил новенький, только-только запущенный тогда по проспекту 25 Октября¹, пахнущий свежим лаком скамеек угловатый зеленый троллейбус с белой крышей и добрыми глазами-фарами. Борька с товарищем сели и поехали — ненадолго, только примериться: назавтра предстояла контрольная по неорганике... В школу он вернулся только через год — с правой ногой короче левой на шесть сантиметров, почти переставшим сгибаться коленом и толстой прокладкой в неестественно измятом ботинке.

...Было нисколько не больно, и в первую секунду он опрометчиво решил, что повезло — даже синяка не набил. Ехать на роликах после двух-трех несмелых попыток и мягких приземлений на пятую точку вообще оказались не труднее, чем на обычных коньках с черными ботинками, — а здесь и ботинок не требовалось: продеваешь ногу прямо в резиновом тапочке сквозь два ремешка — поперек стопы и через пятку — и гони себе по кругу, а хочется шика — крутись в обещанных танцах безо всякого руководства... Промчатся с ветерком, приоровившись по-настоящему, он успел только полтора круга, когда огромная тетка, остриженная «в скобку» и одетая, точно как на плакате, в кумачовую рубаху, с воем налетела на него откуда-то сбоку, будто отчаянно гудящий паровоз, смела, как котенка с рельсов, и грузно понеслась по одной ей ведомой траектории... А Борис, от неожиданности почти упавший, присев на левой ноге и неловко выставив пистолетом правую, отчего-то уже бесколёсную ногу, вихрем промчался к ограждению — и с удивительно громким хрустом врубился в него. Он сразу же вознамерился встать, почистить только утром наглаженные мамой и весьма уже испачканные брюки, разыскать упавший конек... И не понял, на что такое острое и твердое, как лыжные палки, натывается, отряхивая брючину, его удивленная ладонь, почему у одноклассника, конопатого Лёхи, так широко открыт в беззвучном вопле крупнозубый рот, а веснушки словно повисли в воздухе над посережшими щеками, зачем трясет его за плечи, как жадную яблоню, незнакомая перепуганная девушка в белой с красным крестом косынке и о чем она его так настойчиво спрашивает...

Боль пришла потом — когда лежал в больнице на вытяжке и сутками вопил не своим голосом, так что добрый старенький профессор с белой бородкой-клинышком даже постоял над ним однажды минутку, посочувствовал: «Ну, что, милый? Лечат тебя по методу Малюты Скуратова? Э-эх, бедняга ты, бедняга», — и ушел. Но появился, как по щучьему веленью, неслыханный морфий, ненадолго ту боль утолявший. Его просто и быстро обеспечил отец просветителя-Таракана — вернее, та еще не расстрелянная тогда строгая горкомовская «шишка», что ездила с ним на заднем сиденье замечательной черной «эмки». Расчувствовалась «шишка» от жалобного рассказа своего водителя, буркнула небрежно пару слов в эбонитовую трубку — и сразу к Борьке прибежала медсестра со стекляннным шприцем — и долго, между прочим, бегала, а не то бы совсем беда... Когда «шишку» расстреляли — и Тараканова-отца с семьей на всякий случай — сестра прибегать перестала, наоборот, глядела непроницаемо. Правда, боль к тому времени стала уже вполне терпимой и без морфия...

В институте Борис догадался с первых же дней принять вид особенный и загадочный. На чей-то наивный вопрос: «Это с рождения у тебя так?» — сдержанно покачал головой и помрачнел лицом, оставляя воображению новых товарищей широкий

¹ Невский проспект.

простор для полета. Повезло, что в первые же дни принялись ребята горячо обсуждать в курилке гражданскую войну в Испании¹, причем каждый отчего-то стремился привести абсолютно несокрушимые оправдания тому позорному факту, что сам в добровольцы не записался. Бориса деликатно не спрашивали — да он и не нарывался — лишь, охваченный мгновенным, какое бывает, должно быть, только у поэтов, озарением, с силой выдохнул через нос едкий дым дешевой «Звезды» и нервным движением смял тонкий окурок о край урны. «А некоторым... пришлось...» — прерывисто пробормотал, словно себе самому, — и тотчас вышел, никому не кивнув. Он ни на что не рассчитывал и почти не играл — само получилось, даже испугался слегка. Никто его потом ни о чем не расспрашивал, но в самом отношении новых приятелей с тех пор сквозило легкое, будто недоуменное уважение. Может, и правда, *это* — из Испании? И спрашивать нельзя — какое-нибудь секретное задание? Но в остальном парнем он оказался своим в доску, да еще вдобавок охотно подкармливал настоящей колбасой из Смольного тех, кто выглядел уж совсем обтрепанным и откровенно голодным, живя на одну студенческую стипендию. С девушками все годы учебы держался вежливо, но отчужденно, а в сугубо мужских компаниях прозрачно намекал на страстные связи где-то на таинственной «стороне»...

Очередной Новый год встречали всей группой в полном составе на площади Урицкого. Подумать только — казалось, еще совсем недавно строгая учительница с высокой прической заставляла шестиклашек стройно скандировать в классе вовсе не шуточное двустичие: «Только тот, кто друг попов, елку праздновать готов», — а теперь вот не то что елка, а сама Александровская колонна украшена была не хуже: освещенная несколькими прожекторами, она, должно быть, символизировала советское изобилие, увешанная огромными «шоколадными» бомбами, устрашающих размеров картонными колбасами, сверкавшими бумажным серебром, бутафорскими консервными банками, пустопорожне гремевшими на ветру о гранит, и папиросными коробками «Герцеговина флор» размером с рояль. Борис, привыкший к сытной жизни бывшего института благородных девиц, воспринимал происходящее вполне серьезно и невольно раздражался, слушая опасно шутивших среди ушастой и глазастой толпы одноклассников. Один из них, то снимая, то надевая круглые очки, очень смешно изображал в лицах, как бегал минувшей весной рано утром из магазина в магазин, везде отстаивая очередь и покупая по сто разрешенных к отпуску в одни руки граммов еды, чтобы собрать к Первомаю продуктовую посылку «тетушке в Выдропужск²». Корчились от хохота все, включая и самых скромных девушек, стыдливо вытиравших платочками веселые слезы... «Война³ же кончилась! — повторяли они сквозь смех, как по команде. — Теперь всё скоро будет, всё-всё-всё!» Никто и не спорил — молодежь целенаправленно веселилась.

Среди своих по рукам шла уже четвертая бутылка «Плодово-ягодного», когда боковым зрением Борис уловил неподалеку что-то родное. Именно родное — так он определил для себя, еще не повернувшись. Там кто-то хромал. Причем хромал именно так, припадая и вскидываясь, как и он сам, да еще и на ту же ногу. Сделав стремительный разворот на здоровой ноге, молодой человек увидел юную растерянную гражданочку в основательно потертой беличьей шубке и полудетском вязаном капоре. Тоненькие ножки, всунутые в несоразмерно объемные боты, тревожно топали по крошечному пятачку свободной от ликующих товарищей мостовой; судорожно, как побитая утица, девушка ныряла на каждом шаге вправо, с усилием выпрямляясь... Борис не помнил, как оказался рядом с ней, знал только, что не чувствует никакой неловкости и униженности, а, наоборот, подлетает к ней кем-то вроде ангела-избавителя — если бы, конечно, таковые не являлись идеологически вредной сказкой:

— Гражданочка, вы, наверное, потеряли что-то?

Ее лицо как раз в ту секунду коротко лизнул прошедший по толпе прожектор, и хромой ухажер на миг увидел очень ясные, как летняя ночь, глаза.

— Это не я, а меня потеряли, — спокойно и доверчиво сообщила она. — Мама и сестренки. И теперь уж не найдут в такой толчее. Придется мне, видно, одной до дома ковлять...

— Не одной! — обрадовался Борис, снова ведомый в те минуты чем-то вроде вдохновения. — Мы вместе поковляем! Я ведь — тоже — видите? — и он демонстративно прохромал перед ней несколько шагов туда-сюда: вовсе не стыдно показалось, потому что она была — своя, хроменькая...

— Беденький! — пожалела девушка. — Упали?

— Да, на роликах... Много лет назад, — сознался он. — Глупо, конечно, вышло...

¹ 1936-1939 гг.

² Город в Тверской области.

³ Советско-финская война 1939-1940 гг.

— На роликах — не глупо, — со знанием дела утешила она. — Глупо — это когда, как я: только поняла, что меня потеряли... то есть я сама потерялась... Так и побежала сквозь толпу, не зная куда, как последняя дурочка... А у меня в эти боты-то — ноги прямо в туфлях вставлены. Тепло, но неудобно — вот и брякнулась! Нога подвернулась, ботик один улетел, еле нашла его — чуть не затоптали... Представляете — я тут ползаю на коленках, чулки новые порвала, боль ужасная — а они кругом прямо из горлышка вино пьют и хохочут... Потом нашла его — а лодыжка так распухла, что еле влезла... Вот и хромаю тут... В другой день давно бы заплакала, да нельзя — Новый год же! Бабушка говорит, как встретишь, так и проведешь. Не хочется весь год рёвой ходить — вот и держусь как умею... А вы говорите — на роликах глупо... Да глупей, чем у меня, не бывает!

— Насчет того, что весь год — это предрассудки, плачьте себе на здоровье, если хочется, — авторитетно изрек Борис, только что одну за другой постигший две непреложные истины: во-первых, эта милая храбрая девочка хромает *не навсегда*, а во-вторых, хромя только временно, она вовсе не гнушается стоять тут с ним, хромым *пожизненно*, — и не только не гнушается, но даже и не думает смотреть на него страшным взглядом Людки Быковой, а смотрит светло и ярко, как лампочка Ильича...

Отрез голубого крепдешина на платье для загса подарила Кирочке Борина мама, пять лет горевавшая о том, что ее горячая мечта о внуках имеет мало шансов на осуществление. При вести о скорой женитьбе увечного сына — да не на замухрышке какой-нибудь, а на приличной девушке из трудовых интеллигентов, она воспряла духом настолько, что даже сама предложила жениху с невестой располагаться после росписи на Бориной половине комнаты, за книжным шкафом, сколь угодно привольно — а о разрешении на прописку она договорится: как-никак, с восемнадцатого года при Смольном, знакомствами обросла, что твой корабль ракушками — вот хоть завтра с маникюршей из родного «северного» переговорит... Кожаные туфли со скрещенными ремешками — купленные еще у нэпмана, но вполне целые и с новыми набойками — пожертвовала молодая Кирина бабушка, а младшие сестры-двойняшки щедро скинулись со стипендии на настоящие фильдеперсовы чулки. Будущая теща несколько ночей подряд, проверив очередную стопку школьных сочинений, не разгибая спины, строчила на столетнем «Зингере» капризный небесного цвета материал, из которого постепенно, как статуя из мраморной глыбы, рождалось дивное платье с рукавами-«фонариками», с легким летящим подолом...

...Со своей свадьбы они ушли последними, через час после отбытия вполне довольной жизнью свекрови, объявившей, что ей завтра к шести утра на работу, — потому что люди «и по воскресеньям тоже жрать хотят». Рабочая смена в «секретарской» столовой Смольного длилась шестнадцать часов, зато работать приходилось через день; работы мать Бориса не боялась, привычная к ней задолго до исторического Октябрьского восстания. Ей было что восемь, что шестнадцать — так и так наломаешься, зато всегда знаешь, что завтра выходной...

— На трамвай, смотрите, не опоздайте, — предупредила она, сосредоточенно приделывая себе перед трюмо ярко-красную шляпку — милую, дамскую — но совершенно лишнюю на ее крупной, ушастой, спокойно обходившейся вообще без шеи голове. — И, как в комнату войдете, не топайте там особо: мне в пять утра вставать, между прочим. Ты, Кира, пропуск-то не потеряла?

Но Кира все норовила остаться ночевать в родном доме, на каком-то историческом сундуке, где проспала всю жизнь — а мужу разложить посередине комнаты допотопную деревянную раскладушку:

— Мама, может, мы завтра в Смольный поедем, а сегодня уж и трамваи, наверное, не ходят... — умоляюще шептала она, прощально повиснув на шее у матери, словно уводимая в полон.

— Ты сама все решила, — сдержанно выдиралась та из отчаянных объятий. — Никто не неволил, что уж теперь-то... — и бросала непонятный, словно исполненный гнева взгляд на мявшего кепку в дверях зятя. — Ну, довольно, довольно... Последний трамвай тебя дожидаться не станет...

Трамвай и не дождался. То есть, если бы они побежали, крича и размахивая руками, как это сделала стайка свежеиспеченных выпускниц, белыми бабочками взлетевших в конечном итоге на заднюю площадку, то усталый седоусый вагоновожатый, словно сошедший с плаката, где с мудрой суровостью обличал беспечного «летуна!», похожего на комара с портфелем («Хорошо — летаешь, где то сядешь?»), непременно помедлил бы на остановке, добродушно усмехаясь на «дело молодое». Но юные су-

¹ Презрительное прозвище тех, кто часто менял место работы.

пружи дружно сделали вид, что до узкого гремящего и звенящего трамвайчика им нет ровно никакого дела — ни молодого, ни старого.

— Да-а, действительно не успели... — с деланным огорчением протянул Борис.

Жена его тоже облегченно выдохнула:

— Да, жалко... — и сразу оживленно прибавила: — А ты заметил, что когда едет трамвай, то это всегда как музыка? Ни у автобуса, ни у троллейбуса, ни, тем более, у грузовика такого нет. А трамвай — прямо музыкальная шкатулка на колесах. Тут тебе и звон, тут и деревянные ложки, и...

— Тебе надо было на учительницу не математики, а музыки идти, — улыбнулся «муж», к которому, как только выяснилось, что скоро попасть домой им заказано, вновь вернулась обычная уверенность «бывалого» дипломника из Техноложки. — Если этот красный гроб на колесах тебе музыкальной шкатулкой кажется...

— Как жаль, что ты не слышишь... — печально отозвалась Кира. — Впрочем, я тоже не всегда... Это бывает, только когда во мне что-то такое обостряется... Не могу объяснить... Ты ведь не поверишь, если я скажу, что своя музыка есть даже в высшей математике... — (при мысли об этой заковыристой науке Бориса, дважды пересдававшего ее на третьем курсе, слегка передернуло). — Вот, например, формулы... Тебе никогда не казалось, что они напоминают звезды? В смысле, когда вся черная доска в аудитории бывает исписана уравнениями, то, если прищуриться, — это как созвездия на звездном небе: так же притягивают и страшат немножечко...

— ...и примерно так же понятны, — в тон ей протянул Борис и улыбнулся: — Фантазерка ты все-таки у меня... — и добавил бодрости в голос: — Ну что — к Неве? Как раз тут и выйдем к Крузенштерну... — и он начал горячо, с подробностями, рассказывать Кире, как мальчишкой тайком бегал сюда купаться, потому что за памятником — самое глубокое место Невы у берега, так что, ныряя вниз головой, почти не рискуешь свернуть себе шею; а мелкое, наоборот, у Сфинксов — там раньше можно было купаться, даже матери с детьми, бывало, у ступеней плавали, но потом милиция гонять стала — то ли из-за того, что утопленники все же были делом нередким, то ли Академия художеств напротив, иностранцы смотрят — неловко...

Невозмутимый Крузенштерн вырос перед ними на фоне старой притопленной баржи — и на Бориса снова непредсказуемо накатило:

— А что?! Сейчас, можно сказать, жарко. Эх, тряхну стариной!.. — и он решительно взялся за пуговицы пиджака, меж тем как в голове пронеслась неожиданная и, определенно, правильная мысль: «Вот она мою ногу и увидит заранее — при самых обычных обстоятельствах — ну, искупаться решил человек... Тогда *потом* не так страшно будет...»

Поэтому напрасно новобрачная цеплялась за руки неуклонно раздевавшегося в первую брачную ночь супруга, взывая к нему: «С ума сошел! Не позволю!» — он остервенело-весело сорвал праздничную рубашку, запутался в преждевремененно упавших брюках, чуть-чуть попрыгал на здоровой ноге, высвобождая пострадавшую — и, зажмурив глаза, быстро заковылял по траве большим неуклюжим карлой. На краю он, как смог, сильно и отчаянно оттолкнулся — и неловко ухнул топориком в забыто холодную воду великой терпеливой реки. Мощное ледяное течение жестко зацепило его за ребра, ослепило неожиданной темнотой, туго сдавило на миг, будто гигантский змей, останавливая сердце, — и вдруг разжалось и выплюнуло на свет и воздух. Вернувшийся слух ухватил пронзительное, словно утиное кряканье: «Бор-ря! Бор-ря! Бор-ря!» — это надрывалась, стоя у самого края с подобранной юбкой, будто готовясь к прыжку, встревоженная Кирочка. Борис подтянулся на руках и уселся на травянистом обрыве:

— Ну что ты всё — «Боря, Боря»? Заладила. Уж и искупаться нельзя. И тебе советую. Очень освежает, между прочим... — страшное прошло, и теперь снова можно было говорить спокойно.

Они медленно дошли до Дворцового моста, обогнули Эрмитаж — надо же, еще и покрасить не успели, а бордовая краска уже слезает! — прошлись вокруг колонны по площади Урицкого. Борис сжал руку жены:

— Помнишь?

Она загадочно-счастливо кивнула:

— Да. Там еще под аркой еловый лес сделали. И Волк с Красной Шапочкой ходили под руку — смешно, да? И еще ворона была — та, с сыром, помнишь? А я пригляделась, смотрю — а это не ворона, а ворон, потому что парень. И сыр у него был картонный... — они вновь повернули к набережной. — Почему это все люди такие праздничные сегодня? — оглядываясь кругом, спросила Кира. — Все девушки такие нарядные, парни в костюмах... И взрослых почти нет — одни милиционеры — и те какие-то веселые. А вон — слышишь? — поют!

Откуда-то, действительно, вполне стройно грянуло: «Широка страна моя родная,

много в ней лесов полей и рек...» Супруги разом обернулись и увидели идущих под руки неровной шеренгой парней и девчонок — к ним на ходу присоединялись другие и подхватывали: «Я другой такой страны не знаю...»

— Где так вольно дышит человек! — хором выкрикнули, поравнявшись с ними, Кира с Борисом и помахали ребятам.

— Вспомнил! — Борис остановился и шлепнул себя по лбу. — Сегодня же у детей — выпускной! Еще девчонки на Васильевском за трамваем бежали! А ты уж, наверное, вообразила, что это в честь нас в городе праздник, да? Ну, признавайся — да? — он со смехом теребил ее. — А это всего лишь детский бал!

Он с таким удовольствием произнес это уничижительное «детей», что уже преднамеренно прибавил снисходительное «детский» вместо лояльного «школьный» — и стало все кругом легко и понятно: к нему это давно и окончательно не относится. Он теперь взрослый женатый человек — ну, прихрамывает немножко, какое это имеет значение! Он зимой защитит диплом и станет инженером, а жена его через год — учителем. Они станут честно трудиться, и вскоре государство выделит им хорошую собственную комнату, так что уже не надо будет прятаться за шкафом от мамы. И у них, конечно, родится здоровый крепкий сынишка, которого он будет водить за руку вдоль Невы, смотреть с ним на корабли, а еще года через три — кудрявая голубоглазая дочурка, и Кира станет повязывать ей на макушку пышный розовый бант...

Они перешли мост лейтенанта Шмидта, одобрительно глядя вперед и вверх на замершие в теплом небе эростаты: это ведь тоже хорошо, что и в такую мирную ночь идут своим чередом военные ученья, это значит, что те, кто нужно, — не спят и несут свое вечное дежурство, охраняя воскресный покой трудового советского города.

Напротив Академии художеств стоял с открытой дверью и опущенными стеклами казенный серый автобус — и туда весело запрыгивали один за другим ребята постарше — уже не школьники по виду, а студенты или молодые рабочие.

— Вы откуда и куда? — пританцовывая, крикнула им Кира.

— Из Москвы! — охотно отозвалась румяная девушка в белом беретике, бесшабашно сдвинутым на ухо. — На экскурсии здесь, белые ночи ваши смотрим! Сейчас — на Острова едем! Айда с нами!

— Айда! — преувеличенно бурно согласился Борис, хватая Кирочку за руку.

Несчастливая нога его давно уже отчетливо ныла от долгой ходьбы, в чем он закономерно предпочитал не признаваться, и отрадной показалась мысль протянуть страдалицу под чье-то сиденье и тайком помассировать. Ему это вполне удалось, когда, проезжая вдоль Невы, песню про нее с ходу как-то не вспомнили и запросто переключились на другую, не менее известную реку:

— Красавица народная, — гремела их «музыкальная шкатулка», — Как море, полноводная, / Как Родина, свободная, / Широка, глубока, сильна!.. — а Борис, не участвуя в самодеятельности, старательно растирал место давнего перелома.

На Островах они от шумных москвичей отбились — хотя и там гуляющих было хоть отбавляй. Искоса поглядывая на побледневшее личико жены, Борис вдруг понял, как же она устала за минувшие сутки: вся эта утренняя нервоотрепка в загсе, последующая суета со свадебным угощением, потом испытание бурным ужином, принудительным весельем... И, наконец, эта незапланированная прогулка — а все потому, что деваться молодоженам принципиально некуда, кроме как к матери за шкаф, — вроде бы и у всех так, а только... Не по-людски как-то, вот что. Не сядешь, не поговоришь, не обнимешь...

— Давай на пляж... — тихо предложил он. — Хоть отдохнем немного, а там и трамваи пойдут... — поколебался и добавил: — До Смольного доберемся — мама уже на работу уйдет, никто не помешает... — все-таки запнулся, — выспаться...

Борис расстелил для Киры пиджак на холодном песке меж двух неизвестных кустов, а когда она осторожно прилегла, подсунул ей под голову свою кепку. Сам пристроился рядом, с локтем под щекой, поколебался — и нерешительно обнял обмякшую девушку:

— Ты подремли, я подежурю.

Она уютно поёрзала и тоже робко обхватила его за бок. Но подежурить Борису не удалось: беспомощно проваливаясь в бархатную бездну, он только успел услышать ее сонный шепот у своего лица:

— Какой счастливый день наступает... Вот стану я бабушкой, и спросят меня внуки: «Какой, бабуля, у тебя был самый счастливый день в жизни?»... А я им и скажу... Скажу: «Двадцать второе июня... Одна тысяча... девятьсот сорок первого года...»

II

Борис назывался теперь двумя безобидными по отдельности и страшными в своей неожиданной связке словами: «кухонный мужик». Как писалась эта странная должность в отделе кадров Смольного, он не запомнил, а неофициально звучала она, как ни крути, — оскорбительно, отдавая чем-то замшелое дореволюционным. Тесно спаянная команда «южной» столовой для «аппарата», по-семейному делившая военные тяготы, в начале ноября сразу приняла, как родного, единственного сына доброй Васильевны, по-прежнему трудившейся в противоположной «северной», заслужив эту привилегию без малого четвертьвековым беспорочным трудом. Ее миновали жестокие чистки тридцать пятого, безжалостно прошерстившие жировавшую обслугу, когда в расход пустили даже официанток, полотеров и уборщиц, обвиненных в том, что «могли слышать контрреволюционные разговоры», — нашлась на них и такая заковыристая статья. А Васильевну не тронули, что, по мнению чуткого местного племени служилого люда, парадоксально доказывало ее незамаранность доношением: недолго торжествовавших сексов преспокойно расстреляли сразу после тех, на кого они недально видно доносили.

Все это Борис знал давно и, в целом, не особо такими подробностями интересовался. Довольно с него было и теплой квадратной комнаты, сытной хорошей еды, ласковой нетребовательной матери — все равно он должен был скоро стать итээром, уважаемым инженером-конструктором, занять другими, не приземленными идеалами... Так оно и случилось бы, если б не война.

«Если б не война... Если б не проклятое двадцать второе июня...» — остервенело отдирая специальным ножом толстую склизкую корку, налипшую внутри простоявшего весь день под паром котла, повторял про себя увечный «кухонный мужик» Боря, не взятый из-за хромоты даже в ополчение, куда прямо перед ним записали кривого парня, не приняв во внимание его неподвижный стеклянный глаз. «С одним глазом воевать еще лучше: когда целиться будет — прищуриваться не надо. А ты не то что в атаку побежать — тебя еще на марше самого, вдобавок к полной выкладке, на плечах нести придется», — так объяснил свой поступок пожилой лейтенант, подняв усталые, в частой сеточке красных прожилок глаза от длинного карандашного списка.

Борис, наконец, перевернул освобожденный котел, аккуратно вытряхнул на газету размякшую корку, собираясь нести ее в мусорный ящик.

— Ты чё, спятил? — рядом бесшумно возник пятнадцатилетний Валька, сынок раздатчицы тети Зины, тоже пристроенный мамой на подхват. — Это ж каша пшенная! На молоке! Кипяточком развести да вилкой помять — и все дела!

— Голодный ты, что ли? — удивился Борис.

В дополнение к общим продуктовым карточкам, превратившимся теперь в главные семейные ценности для подавляющего большинства ленинградцев, в Смольном выдали, каждому соответственно рангу, еще и свои, местные карточки на завтрак, обед и ужин. Тот, кто отдал обычные, «голодные», карточки кому-то из родни в городе, лишился за обедом мясного блюда и вынужден был есть пустой гарнир — чаще всего вермишель без подливы или сухую картошку. Но они-то с Валькой сегодня съели по говяжьему биточку и каши с маслом и хлебом от пуза! А Вальке потом еще и суп почему-то не понравился, и он его красноармейцу из охраны отнес — а тот ему что-то в карман сунул... Да и матери их каждый день домой то мясо, то рыбу, то картошку приносят... А этот... Хотя ведь расти, наверно, пареньку нужно...

— Тебя как ни корми — все не в коня корм. А в городе люди, говорят, даже кошек съели, — упрекнул он жадного пацаненка.

— Вот и я говорю — съели, — Валька по-свойски подхватил Бориса под руку, отвел чуть в сторонку и незаметно повертел головой туда-сюда. — А мать тут как-то на проспект Володарского к подруге своей ходила — так говорит, они там вообще на улицах мрут, честное слово. Обстрелы — это само собой, а больше от голода... Здесь у нас об этом говорить — сам знаешь. Только шепотом.

— Неужели прямо мрут? — усомнился Борис, «шепот», конечно, слышавший не раз, но предпочитавший списывать его на бабы «страсти». — Я-то сам в городе с осени не бывал — идти не к кому. Друзья все на фронте, жена...

— Да знаю я... — хитро подмигнул ушлый парнишка. — Соломенный ты наш вдовец, жену из армии ждешь... — он было похабно хихикнул, но Борис нахмурился:

— Но-но, ты давай не очень, а то ка-ак...

— Ой, испугал! — в притворном ужасе закрывшись локтем, Валька недалеко отскочил. — Да ты слушай меня, чудило, я дело говорю — как раз и бабе твоей хорошо выйдет. Корку-то — пшенную там или вермишелевую — не выкидывай. В газете под бешлатом с собой уноси. А дома — по банкам — по банкам ее, родимую...

— Зачем? — опять изумился тугодумный Борис. — Хотя правильно: красноармей-

цы эти с командиром, что на кухне всегда дежурят, одним армейским пайком живут. Я видел, как ты суп им носил — молодец. Я тоже иногда свой отдаю. А вот если кашу эту им вроде приварка... Ловко придумал, хвалю за сообразительность!

Теперь уже Валька воззрился на старшего товарища в полном недоумении — отсутствующие брови полезли вверх:

— Слушай, откуда ты к нам свалился такой правильный — хоть сейчас в ВКП(б)! Какие красноармейцы? Какой приварок? Паёк дают — и хватит с них! Я тебе про что толкую? Я тебе про ба... про жену твою говорю! Вот вернется она с фронта, а ты ей — подарок! Кольцо, скажем, золотое или там серьги какие-нибудь...

— Зачем ей серьги, у нее и дырок-то в ушах нет, — все еще не понимал Борис.

— Да в ушах и не обязательно, главное, чтобы... Всё, понял, — он быстро поднял ладони в ответ на угрожающий жест Бориса. — Ну, горжетку тогда, как у Зойки-офицантки. С лапами, глазами и зубами — видал?

— Не темни, говори прямо, — строго глянул «кухонный мужик».

— Прямо так прямо, — покладисто согласился Валька. — Литровая банка каши такой на толкучке у Кузнечного на золотой перстенек тянет. А не то — на шевиотовый довоенный костюмчик с такими шкарами, что носы ботинок закрывают, — глядишь, и сам приоденешься. Верно говорю: сам туда раз сгонял, но одному страшно — видел, как блатные с бритвами по толпе шныряют. Вдвоем хочу. Один меняет, другой — прикрытые обеспечивает. Наглеть не будем, больше одной банки на рыло отсюда все равно незаметно не вынести. Какая смена на выходе добрая и без толку людей не шмонает — это я давно уже вычислил. А у нас с тобой у обоих — смена будет как раз вечерняя. Если не дрейфишь — так с утречка и прогуляемся. Ну, что — прояснилось?

Шевиотовый костюмчик с чужого плеча Бориса не прельстил — его собственный почти новенький бостоновый без дела пылился в шкафу с дважды памятного дня свадьбы. А вот колечко для Киры... Пусть хоть самое тонюсенькое, пусть хоть как проволочка... На свадьбу-то ведь и чулки шелковые ей сестры, помнитесь, вскладчину купали... А он только раз пирожными угостил... Все думал — вот стану инженером, тогда уж... Но теперь она — бравый, наверное, сержант, а он тут незаменимый специалист... по обедам.

...Двадцать второго июня до Смольного они так и не добрались — до позднего утра младенчески проспали под кустами, пригреваемые нежарким еще солнышком, — и, пыльные, помятые, виновато побрели на Васильевский, на ходу вытряхивая из обуви колючий песок. Добравшись до Большого к полудню, увидели небольшую группу людей, что нетерпеливо стояли, обмахиваясь газетами и платками, под уличным репродуктором, испускавшим неблагозвучный треск. «Объявили, что будет передано важное правительственное сообщение, — вот и ждем. Только бы не карточки опять ввели...» — охотно поделился опасениями толстый дядька в очках, вытирая смешной пионерской панамкой обильный пот со свекольно-красного лица — и в этот момент громкоговоритель последний раз прочистил железное горло и торжественно разродился знакомым голосом Молотова:

— Граждане и гражданки...

В два часа дня они сидели рядышком на Кирином высоком обшарпанном сундуке, всю жизнь прослужившем ей скромной девичьей постелью, — матрас вчера еще был туго свернут тещей, и теперь, как наказанный, стоял в углу пустой жаркой комнаты, глядевшей в узкий двор на изнуренный серый тополь. Кира держала в руках только что извлеченную именно из прославленного сундука маленькую помятую бумажку с едва различимым машинописным текстом:

— Временное удостоверение Ворошиловского стрелка, — вполголоса читала она. — Дано настоящее товарищу Зуевой Ка Эн двадцать первого года рождения в том, что он сдал... сдала нормы Ворошиловского стрелка... ступени первой... двадцать восьмого ноября тридцать девятого года... Первое упражнение... сорок два... очка, второе упражнение... пять попаданий... Выдан значок за номером... сорок четыре тысячи четыреста тридцать шесть... Подпись... Ох! — она вдруг уронила лицо в удостоверение, как в носовой платок. — Я ведь, когда сдавала, и подумать не могла, что пригодится... Куда теперь с этим — в военкомат, да? Или в институт?

— Ты что, какой военкомат! — испугался Борис, хватая ее за руку. — Думаешь, мы с этим выскочкой Гитлером без девушек не справимся?... — и жестоко запнулся.

Кира залилась мучительной краской, видимо, тоже оценив это невольное страстное «мы» — и не решившись добить стиснувшего от унижения зубы мужа. Она тихо сползла с сундука, одернула как-то поникшее на ней за сутки голубое платье:

— Не знаю... Я что-то такое странное чувствую... Ты отвернись... Мне переодеться надо.

Заложив руки за спину, он горько смотрел на старый потрепанный тополь, дожи-

вающий свой честный век в ленинградском дворе, на грязный пух, облепивший его бурую усталую крону, и безуспешно пытался наскоро обдумать ту бессмысленную нелепицу, что назойливо свершалась кругом — без всякого его участия. Это он должен сейчас в толпе суровых друзей решительным шагом идти в военкомат, где, наверное, стоит уже длинная очередь таких же, как он, крепких и смелых защитников, никогда не ломавших мощные упругие ноги на несерьезных роликовых катках... А не... — он обернулся — не пухленькая, как булочка с сахарной пудрой, девушка в белом холстинковом платье-халатике и сияюще-белых от зубного порошка резиновых туфельках. Ни разу он не заметил на ее тоненьких пальчиках ни одного, даже самого скромненького колечка...

— Вы только не вздумайте все меня отговаривать, — новым, не звонким девичьим, а вполне взрослым голосом волевой женщины сказала она. — Потому что все равно ничего у вас не получится.

В следующий — и последний — раз он видел Киру у Смольного в конце августа, когда она соскочила к нему с откинутого борта грузовика, ненадолго вырвавшись из казармы перед отправкой в часть. Уже вплотную подступила к Ленинграду осень — и вместе с ней неудержимо приближался враг. Молодая жена его выглядела похудевшей, будто ее грубо обстругали, и новенькая х/б гимнастерка, выданная еще в самом начале двухмесячных курсов, с которых гордые Ворошиловские стрелки выходили неопытными младшими сержантами-снайперами, нищенски висела на ней, перетянутая жестким армейским ремнем, — но в петлицах скромно багровело по маленькому треугольнику¹. Все это выглядело бутафорски-неубедительно, словно перед ним стояла девчонка-старшеклассница, вздумавшая сыграть в школьном театре красноармейца, — не хватало, пожалуй, только гуталином наведенных усов... Поверить в то, что она едет воевать по-настоящему, было невозможно по определению — или просто это само сердце отвергло такую возможность?

— Мы с тобой здесь сейчас простимся — ты на вокзал вечером не приходи. Меня мама придет провожать и девочки. Они эвакуируются завтра со своим институтом, а маму школа не отпустила... — Кира на секунду схватилась за голову: — Слез будет! Представляешь, мама до сих пор отговаривает, будто сейчас что-то от меня еще зависит... И на тебя, между прочим, злитесь — якобы должен был мне запретить, муж все-таки... Ты вот что — пригляди тут за ней немножко, мало ли что... Вдруз...

— Мы Ленинград не отдадим, — на сей раз нарочно напирая на это злостное «мы», отрезал Борис. — Тут тебе за нее волноваться нечего... А вообще — да, пригляжу, конечно, о чем разговор... — он помолчал. — Ты там это... не очень... Ты береги себя, слышишь? Я ведь ждать буду. И еще, сказать хотел... Раньше не получалось как-то, а теперь... В общем, я это... Люблю я тебя, понимаешь... По-настоящему.

— Да, и я. Я тоже — по-настоящему, — просто ответила она. Грузовик за ее спиной хрипло и настойчиво прогудел. — Идти мне надо, — Кира обхватила Бориса руками за голову, притянула к себе, и он почувствовал этот последний поцелуй, как первый, словно все те, из прежней жизни, были несерьезными, не дававшим им никаких прав ни друг на друга, ни на любовь...

Борис, разумеется, знал — и от матери, регулярно навещавшей с контрабандными гостинцами школьную подругу где-то на Охте, и от других, не запертых в Смольном на казарменном положении, а лишь связанных подпиской о неразглашении работников — и про трамваи, похороненные в сугробах до весны, и про вечно тлеющие руины некогда густозаселенных домов, и про закутанных во что попало человеческих призраков с отрешенными лицами, равнодушно бредущих по узеньким тропинкам среди снеговых завалов... Он понимал, что пойдет по неузнаваемому, прифронтовому городу, совсем другому — сурово-трагическому, но высокому в своем страдании — и все же был ошеломлен и подавлен, пробираясь вслед за шустрым Валькой, ловко находившим дорогу среди снегов, слежавшихся в нерастопляемые, казалось, глыбы, и огромных безмолвных развалин. Раньше он видел страдание только в фильмах и спектаклях — всегда сдержанно красивое, окрашенное героизмом допрашиваемых и расстреливаемых белыми революционеров или красноармейцев, непременно сохранявших на экране или сцене благородную бледность лица, огонь сверкающих презрением очей; а если и бежала какая-нибудь черная струйка крови — так обязательно сбоку, воровато, от виска по щеке, или пятном расплывалась по мощному непокоренному плечу. Теперь Борис был поражен уродством страдания, его подлым безобразием; тот самый *величественный* дух города, к которому он привык с рождения, дух официально провозглашенного «музея под открытым небом» — тот дух исчез безвозвратно, заменен-

¹ Т.е. она имела звание младшего сержанта Красной армии.

ный другим, смутно ощущавшимся как *великий*.

— Всё, прищандыбали, и погода хорошая по дороге стояла — это я в том смысле, что под обстрел не угодили: так теперь в городе говорят, — обернувшись, доложил Валька, указывая вперед, на узкую улочку, где и правда у ограды высокой, в прошлом желтой церкви — без креста и с наглухо забитыми окнами — бесшумно колебалась черно-серая, как стая городских ворон, толпа. «Действительно, — прошла отчего-то страшная мысль. — Ни одной вороны по дороге не видели... Ни голубя, ни даже воробушка...» — Не зевай, — подтолкнул его остро оглядывавшийся Валька. — На старух старорежимных смотри, не на теток. Что стоящее — так это у них только. От народа в революцию по дырам попрыгали, теперь вот вытаскивают. Потому что с карточкой иждивенческой и в магазин ходить нечего: сразу помирать ложись... Да шевели давай копытами своими, я пока вокруг погляжу, чтоб ничего такого...

Борис нерешительно побрел вдоль ограды, на каменном основании которой, очищенном от снега, на пожелтелых газетных листах разложены были нехитрые сокровища безвозрастных ленинградок, молча стоявших с иззелена-серыми лицами и глубокими провалами погасших глаз, очерченных зловецом темными кругами. Но одна из них вдруг встrepенулась при виде кого-то знакомого:

— Здравствуйте! И вы тоже здесь? А я — вот видите... Ну, как живете?

— И вам не хворать... Как живу? Да как трамвай четвертого номера... По Голодаю, по Голодаю — и на Волково... — ответил ей сильный бесполой голос, и, к немалому удивлению, Борис услышал сбоку что-то вроде короткого и слабого всплеска смеха.

До него не сразу дошел нехитрый каламбур: ведь верно же, что четвертый трамвай ходил до войны с острова Голодай через весь город до Волкова кладбища и тащился так нестерпимо долго, что веселые пассажиры (может, прямо в пути!) сложили про него вполне приличную частушку: «Долго шел четвертый номер, на площадке кто-то помер...»

— По-го-ло-да-ю... — шепотом недоуменно протянул Борис. — Ох ты, Господи! Они еще шутят тут!

Он заковылял быстрее, невнимательно разглядывая все эти почерневшие серебряные ложки, никому не нужные эмалевые рюмочки, нежные отрезки замороженного крепдешина — и вдруг в чьей-то на миг разжавшейся шерстяной варежке что-то блеснуло. Кольцо. Не очень тонкое, гладкое, вовсе без камня. Он знал — обручальное, такие надевали до Октября в церкви жениху и невесте. У его мамы тоже раньше такое было, потому что с покойным мужем, погибшим под революционным поездом еще до рождения первенца, ее соединил навеки в скромной пригородной церквушке красивый седокудрый священник в начале веселого восемнадцатого года. Мать то кольцо от греха унесла в Торгсин — просто чтоб не заметил никто и с вопросами лишними не пристал.

— Что вы за него хотите? — робко спросил молодой человек высокую, неуловимо надменную старуху с уже прозрачным, как капля воска, лицом.

— Что дадут, — со странным равнодушием ответила женщина.

— Вот, у меня тут... — он торопливо распахнул бушлат, стеснительно показывая голубоватую банку, набитую плотно спрессованной пшениной коркой. — Вроде как каша... Пшениная...

— Хорошо, — и она протянула кольцо, бросив на него последний, исполненный непонятного горя взгляд.

— Не надо! — неожиданно для себя отвел ее руку Борис. — Так берите... Мне не нужно... Что я — какой-нибудь... — не глядя, он ткнул в ее сторону банку и, неловко наступив на короткую ногу, отчего его едва не мотнуло лбом об ограду, бросился прочь.

— Юноша! — каким-то образом она сумела догнать его и уже стояла рядом, быстро засовывая ему в рукавицу что-то маленькое и холодное; ее глаза словно прорезались на лице слабым сероватым светом: — Возьмите. Это не в обмен, это я вам просто... дарю. Все равно скоро... соседке достанется. Не хочу... А у вас, наверное, еще будет невеста...

— Я женат... — прошептал Борис и трудно сглотнул.

Между ними, юркий и верткий, как маленький ужок, возник вездесущий Валька, отгесняя его от женщины и радостно бормоча:

— Толкнул? Покази! С почином тебя! Видишь, как просто? На той неделе опять наладимся. А я тоже не пустой... Хоть костюмчик и не выторговал, но клёши матросские, новые совсем, — смотри... — он взялся было за пуговицу своего ребячьего пальтукана на вате, но в ту же секунду у них под ногами отчетливо дрогнула земля, а в уши врезался парализующий вой сирен, взревевших разом со всех сторон.

Толпа словно покачнулась и сразу начала странно быстро редеть, хотя секунду назад люди еле передвигались. Растерянного Бориса кто-то больно толкнул в ребро: это Валька, успев мгновенно сориентироваться на местности, разворачивал его, глупо

торчавшего посреди улицы, лицом в другую сторону — туда, где на стене дома были крупно намалевано неровное слово «Бомбоубежище» и тянулась от него влево жирная черная стрелка.

— Бежим! — успел крикнуть мальчишка — и тут позади них жажнуло.

Оглохший на миг Борис повалился ничком в бурый истоптанный снег — но земля вдруг оказалась ненадежной: она ходуном ходила под ним, будто хотела разверзнуться, сверху сыпалось что-то тяжелое, безболезненно и бесшумно ударяя его по спине, а потом глухую ватную мглу разорвало частыми округлыми ударами, словно небывалая гроза спустилась с небес на землю среди зимы: это снаряды тесно ложились на близкую площадь... Он ни о чем не думал, ничего не боялся, он был не он среди внезапно открывшегося ада, который, как оказалось, все это время спокойно существовал, невидимый, совсем рядом и вот теперь взял — и перешагнул неведомую границу...

Тишина обрушилась так же внезапно, как грохот. Это была относительная тишина — звуки разрывов постепенно удалялись куда-то назад, туда же, откуда пришли, словно откатывалась чудовищная, сокрушительная волна. Борис не трогался с места, охваченный невероятной, никогда не испытанной усталостью — такой, будто всю ночь ворочал упорные камни в грохочущем подземелье, выбрался наверх, упал — и теперь не мог пошевелиться. Каждая клетка мелко дрожала в нем, не было сил глубоко вздохнуть, повернуть голову, опереться на руки...

— Да нет, ничего, тут только двоих убило, — донесся до него, как из шахты, далекий человеческий голос. — А кто под оградой лежал, тех даже не ранило никого, — голос приблизился и навис: — На проспект их, что ли, оттащить? Пусть лежат там на виду, может, заберут... Да погоди ты, посмотреть надо, вдруг у них карточки с собой. Ну-ка, помоги этого перевернуть...

Жесткие руки впилась ему в плечо и бок, затрясли, потянули — Борис встрепенулся и открыл глаза: прямо перед ним скалился длиннозубый скелет в мятой барашковой шапке и круглых очках, отражавших двух крошечных черных человечков на мутном фоне.

— Ты чего, живой, что ли, парень? — вяло удивился скелет. — Ну, извиняй тогда. Ранен? Нет? Контужен, значит. Повезло. А вот малой, похоже, отмучился, — и он медленно указал очками куда-то вправо.

Борис кое-как повернулся всем корпусом, и сначала ему показалось, что он чего-то недопонял: лежал рядом с ним Валька как Валька, с обычным усмешливым прищуром смотрел в белое небо, и небо тоже смотрело ему в глаза, высветляя их и слегка туманя. Второй скелет, точно такой же, как первый, только без очков и в ушанке, слегка подерживал мальчика под плечи, словно желая помочь ему подняться.

— Ему осколок прям под левую лопатку вошел. Во-от такой. Во-от настолько, — показал он желтыми косточками пальцев и стал неуклюже вставать с бордового снега.

Никто больше не обращал внимания на Бориса, и он так и остался сидеть рядом с постепенно застывающим Валькой, не чувствуя ни холода, ни страха, ни боли в своей неловко подвернутой злосчастной ноге.

Вновь по соседству загрохотало железом — но негромко и неопасно: это подкатила дребезжащая полуторка, груженная кое-как сваленными бревнами. Открылась водительская дверца, высунулась очередная черная ушанка над острыми, туго обтянутыми скулами:

— Только один? — раздался зычный вопрос. — Ладно. Если б вмерз — ни за что бы не стали выколупывать. Но раз свежий, то возьмем.

Борис, не понимая, наклонил голову.

— Так помогай давай, расселся тут! — крикнули ему.

Из кабины с обеих сторон без спешки вылезли два одинаковых человека в ватных штанах и валенках, так же неторопливо отвалили задний борт грузовика — и почти опомнившийся Борис помог им погрузить в машину легкого, еще гибкого Вальку. Только тогда он заметил, что суковатые бревна в кузове — это вовсе не бревна, а мертвые люди, наваленные друг на друга, как мороженая рыба, горой вытряхнутая из ледника на прилавок. Очень близко он увидел улыбающееся женское лицо в мелких кристалликах снежной крупы, а потом не мог оторвать рук от борта машины, заметив, что Валькины глаза словно подернулись пленкой, превратившись в слепые бельма.

— Братишка? — с неожиданным сочувствием спросил один из мужчин и откровенно прибавил, понизив голос: — Может, есть чего на помин души?

— Есть, — Борис быстро расстегнул Валькин уже ледяной пальтукан и извлек из-за пазухи черный сверток. — Клеши матросские. Хочешь — сам носи, хочешь — выменяй что-нибудь, — кивнул на ужасный груз: — Куда вы их теперь?

— На Ваську, — ответила ему. — У Смоленского там пока складываем. Земля оттает — похоронят, говорят... Ну... Бывай.

Смутная мысль вдруг заколотилась, как второе сердце:

— На Ваську? Можно мне тоже?

Мужички равнодушно переглянулись, и один сказал:

— Только в кабине места нет, с *ними* поедешь, если не боишься.

Борис молча кивнул и тяжело закинул большую ногу в открытый кузов. До войны Кира жила на девятнадцатой линии. А неясная поначалу мысль, теперь все ярче разговаривая, была проста и невероятна: «А вдруг она вернулась?» — глухо стучало в нем, как безгласные попутчики друг о друга и о деревянные борта.

Выполнить обещание «приглядывать» за остающейся в полном одиночестве тещей, данное Кире в их последнюю скомканную встречу, Борису до сих пор не удавалось. Он смог навестить ее только однажды, еще до своего устройства на работу в Смольный (помнится, кончался октябрь, и умирающий клен за Кириным окном торопливо сбрасывал под хлестким ветром дырявую, как молю поеденную, грязно-желтую листву), — и нельзя сказать, чтобы ему был оказан уж очень теплый прием. Тогда он робко выложил на круглый стол, покрытый хоть и штопаной, но явно ценной старинной скатертью белую банку крабов «Чатка» из тех, что в конце первого военного лета можно было покупать в Ленинграде безо всяких ограничений — словно раньше, благодаря очередному странному запрету, они лежали на каком-то таинственном складе и вдруг были разом выброшены в продажу. Мать Бориса запасла их тогда целый ящик, но сын ее даже от запаха всего «рыбного» упорно воротил нос еще с детства и осенью тайком раздавал банки в подарок тем, кто пока так или иначе не покинул город. Теща, несколько осунувшаяся и потемневшая лицом, сдержанно поблагодарила за гостинец и поставила банку на старинный резной буфет, а разговор все не желал налаживаться. Нет, она тоже не получала письма от Киры... Да, девочки и бабушка здоровы, живут в Омске... Конечно, она сообщит, если будут известия... Спасибо, ни в чем пока не нуждается... Несомненно, война скоро кончится, и Кирочка вернется...

Борис заметил, что женщина украдкой бросает взгляды на буфет с красовавшейся банкой, и стал прощаться, усмехаясь про себя: вот сейчас он уйдет, а она сбросит всю свою гнилую интеллигентность, накинется на этих вонючих крабов и, пожалуй, банку зубами прокусит... Он задолго до свадьбы чувствовал, что теща активно не одобряет выбор своей дочери — именно из-за хромоты жениха. Боялась, что злостно придумал ее коварный зять свой оскольчатый перелом со смещением, и на самом деле — колченогий он от рождения, а стало быть, дети его такими же рождаются, если не хуже...

В последних числах ноября он порывался к ней снова, хотел отнести хлеба, что пока ненормированно лежал на столах в южном крыле, — но нарвался на строгий материнский выговор: «Ташиться на Васильевский — чай, не ближний свет. Придешь к ней — а она эвакуировалась. Сейчас все они эвакуируются. И куда ты такой после этого денешься?»

Пройти метров восемьсот от Смоленского кладбища до знакомого дома оказалось нелегкой задачей. Прямой путь по линии преградила огромная воронка прямо посреди улицы, огороженная колючей проволокой (не досками: те давно бы унесли на дрова), с нацепленными по всему периметру объявлениями: «Осторожно! Неразорвавшаяся бомба!» — и пришлось искать проходные дворы. Борис помнил их достаточно ясно, ведь именно в них, во всех подряд, они целовались с Кирой весной теми самыми «настоящими» поцелуями. Но, уверенно свернув под первую же арку, почувствовал себя как на Марсе — только вот Аэлиты нигде не было. Снега во дворе стояли до окон второго этажа, тошнотворно воняло нечистотами, узкая натоптанная тропинка, отвратительно желто-коричневая, вела словно в никуда, и, дважды упав по дороге в мерзкий сугроб, Борис еле выбрался обратно к затаившейся под землей бомбе. Не желая более рисковать, он пошел в обход через Малый, мучительно пробирался среди сугробов, падал, кое-как подымался и, наконец, зайдя с другой стороны, полностью измочаленный, выкарабкался на финишную прямую. До него уже дошло со всей несомненностью, что мысль, внезапно посетившая его у грузенной трупами полуторки, была такой же безумной, как и всё, происходившее с ним сегодня: ведь если бы Кира вернулась — разве не побежала бы она сразу к нему? Но вот письмо от нее прийти могло. А что! Она ведь за «кольцом» воюет, написала, наверное, и матери, и мужу, а до него просто не дошло. Бывает ведь? Сплошь и рядом! Он просто спросит и уйдет. Да, и еще отдаст теще свою «общегородскую» карточку. Наплевать, что без нее он лишится в Смольном битка на второе — да и не лишится вовсе, там свои люди, всегда подкинут калеке кусочек, голодным не оставят. А домой — в опрятную комнату, где стоит круглый стол, покрытый нарядной клеенкой с гвоздичками, где уютно трещат в «голландке» осиновые полешки, выписные маме еще в конце лета, где в углу, за занавеской, есть старая чудная раковина, куда из медного крана шумно бежит теплая белая вода, — домой мама из своего «северного» тоже приносит поесть, у них и сейчас между рамами грамм двести сыру лежит, и тушеное мясо в кастрюльке... Только бы благополучно добраться — а то

вон опять где-то, кажется, бахает, да и нога разболелась с непривычки.

«Ну, вот и он, кажется...» — день уже незаметно подернулся первыми сумерками, когда Борис в изнеможении прислонился к стене Кириного дома, снял шапку и вытер вспотевшее лицо. Ближнее окно первого этажа было заколочено дырявой фанерой — и что-то невнятно тревожное почудилось в этом. Он тупо пригляделся к фанере: почему в дырку просвечивает не крошечная тьма, а яркая белизна, словно за ней — заснеженная улица, а не комната? Ответ еще не пришел, но сердце уже остановилось: только эта, фасадная стена и уцелела от старого питерского дома. И фанера случайно осталась лишь на нижнем этаже. Все остальное превратилось в невысокую гору грязного мусора, вперемешку с вездесущим снегом, который, казалось, действовал той зимой в Ленинграде заодно с врагом.

И вовек бы ему, быть может, не увидеть больше родного Смольного, не услышать добрых маминых упреков, да и просто не согреться бы уже никогда, если б в армейской полуторке, медленно ехавшей по памятной набережной, где всего полгода назад он с храбростью отчаянья нырнул в ледяную пучину у памятника Крузенштерну (теперь заваленного мешками от пьедестала до макушки), не нашелся добрый, махоркой пропахший пехотный старшина, что углядел из кабины тяжело хромающего парня, что обреченно брел вдоль фасада Горного института. Он, скорей всего, принял его за отвоевавшего свое фронтовика:

— Эй, служивый! В ногах правды нет! Хочешь — полезай к бойцам в кузов!

А они уж и руки тянули, невесело балагурия на его счет. Борис от усталости и растущей боли даже не спросил, куда они направляются, но волшебю оказалось — на Охту. А там ведь только через мост перебраться как-нибудь... Лишь бы не обстрел...

...В столовую южного крыла он ввалился, ни жив, ни мертв, как сорок лет промыкавшийся по пустыне еврей на обетованную землю, за полчаса до начала своей смены — легкой, ночной: только тихий огонь в печи поддерживать, чтобы тех несчастных «аппаратовцев», которым до утра неумные «секретари» не дадут покоя, могли тут в перерыве чайком напоить с пирожком горяченьким. В кухне еле доковылял до плиты, прислонился к ее теплоте, будто маминому, боку, прикрыл глаза, стал было думать, как рассказать о Вальке... И чуть не заснул на месте — а когда потрясли, с трудом приподняв веки. Трясла его тетка Вера с раздачи — не по вине блокады, а по жизни худая, как швабра, — трясла и шипела:

— Рехнулся, что ли, — на кухню в уличном, да еще в валенках! Господи, совсем с ума посходили! Хорошо, завстоловой спать ушел, а то б ты кувыркотом отсюда сегодня же вылетел! — и вдруг осеклась, увидев его тяжелый отрешенный взгляд. — Случилось чего?.. Шапку давай, ватник тоже, уберу от греха... Сейчас халат тебе принесу, посиди тут покуда, — сделав несколько шагов прочь, она обернулась, глянула исподлобья, поджав губы: — Горе у нас — не слышал еще? Баба одна из той смены погибла. Увольнительная у ней сегодня была, к родне она в город бегала. Обстрел начался — и первым же снарядом... Прямо тут неподалеку, потому и знаем... Такие вот дела... — она убежала и почти сразу вернулась с халатом на плече — а в руках принесла две дымящиеся тарелки: — Кисель тебя, извини, не дождался. Биток вот ешь. Картошка, правда, сухая, подливку сегодня «аппарат» слопал... Зато супа зеленого полторы порции — и яичко тебе я туда порезала. Хлеба вон бери... Да не надо мне твоей карточки, мы и так спишем. Сметану эту маманя твоя передала нам из «секретарской» — только сегодня, говорит, из Мельничного доставили. Наворачивай! Оголодал, небось... По бабам, что ли, таскался? Шучу, не бойсь. А хоть бы и так — дело-то молодое, не все же в соломенных вдовцах ходить.

— Под обстрел я попал, тетя Вера, — пробормотал Борис с набитым ртом: голод, как-то позабытый в городе от переживаний, теперь просто бурлил в нем, требуя немедленного утоления.

— А-а, — протянула она. — Наверно, под тот же, что и Зинка... Не повезло бедолаге... Сынок у нее тут остался — Валька, вертлявый такой пацаненок, с тобой ведь он в смене? Значит, прибежит сейчас... Круглый сирота теперь — на отца еще в июле похоронка была. Сообщить бы ему о матери — да как ребенку такое скажешь... — Вера рассеянно глянула на круглые часы, что висели прямо над ними на высокой стене, выложенной стерильным белым кафелем: — На десять минут опаздывает. В другой день так бы ему всыпала... А сегодня... Не знаешь, где носится? Не видал?

Борис медленно положил ложку на стол, справа от пустой тарелки, и кусок хлеба — по левую сторону. Коротко мотнул головой:

— Не знаю, — ответил. — Не видал.

III

Обручальное кольцо, подаренное старушкой, влезало ему только до второго сустава безымянного пальца. Борис изредка доставал его из дальнего угла обширного ящика в письменном столе и каждый раз примерял то на правую, то на левую руку, словно надеясь, что оно чудесным образом выросло и теперь возьмет — и наденется. Но это было Кирино кольцо. Оно ждало ее уже больше двух лет и все никак не могло дожидаться. Как и он до самого начала сорок четвертого не дождался ни собственноручного ее письма, ни хотя бы косвенной, недостоверной вести о ней.

Он уже не был в «южной» столовой презренным «кухонным мужиком», год назад получив неожиданное повышение до помощника повара — и под руководством степенной и правильной поварахи Варвары, гордо носившей, как корону, высоченный белый колпак, со странным азартом постигал премудрости правильного приготовления пищи. С начала года продуктовые ограничения у них почти исчезли — и Варвара вдохновенно изобретала новые, «невоенные» блюда, удивляя оживившийся «аппарат» позабытыми в блокаду сложными соусами.

Как больной после комы, город понемногу опомнился, начал поднимать голову, неуверенно вдыхал полной грудью и вскоре даже принялся решительно чистить золотые свои перышки. Модно стало среди постоянных жителей-«смолян» посещать активно заработавшие театры — особенно имени Кирова. Впрочем, его предпочитали называть не в честь убиенного первого секретаря обкома («Не к ночи будь помянут», — шутили самые смелые), а по-свойски ласково — Мариинка.

Настал однажды день — не по-февральски солнечный, словно март ненадолго забежал вперед и лукаво заглянул в их широкие окна. Борис ловко, уже привычными движениями, потрошил одну за другой упитанные куриные тушки, только что поступившие из бесперебойно снабжавшего Смольный всю войну подсобного хозяйства в Мельничном Ручье, и рассеянно слушал рассказ круглоглазой официантки Сонечки, приглашенной вчера одноруким, но бравым капитаном-летчиком в оперу:

— Слушай, ну, цены у них в буфете, доложу я тебе... Представляешь, одно яблочко — пятнадцать рублей, а плитка шоколаду — сто тридцать! А Коля мой мне целых три пирожных купил, каждое — пятьдесят рублей стоит! Сам бутерброд с колбасой съел — за двадцать пять... И конфеты...

— Борис, — перебила ее возбужденный стрекот раздатчица Марья Ивановна, — вас на вахте какая-то девушка спрашивает, военная.

Он впервые за многие годы забыл про свою короткую ногу и почти не сгибающееся колено. Обе ноги несли его по бесконечным коридорам, как равноправные, здоровые, дробный топот их заглушал удары сорвавшегося сердца. Пропуска при нем не оказалось, но на вахте Бориса знали и только кивнули — да и захоти они остановить пролетевшего мимо, как снаряд, повара в заломленном на затылок колпаке, вряд ли бы преуспели. Он выскочил на узкую улочку у служебного входа — и сразу увидел маленькую девушку в грязно-желтом армейском полушубке с сержантскими погонами, что ждала, притоптывая непропорционально большими валенками на веселом солнечном морозе. Она стояла в профиль, и опущенные «уши» форменной шапки не позволяли сразу увидеть лицо.

— Кира!.. — почти крикнул Борис со ступенек, но горло жестко перехватило.

Девушка быстро обернулась, оказавшись абсолютно незнакомой, черноглазой, смугло-румяной красавицей, и без улыбки направилась к нему:

— Вы ведь Борис? Здравствуйте. Я — Лиза. Вы ничего... обо мне не знаете? — голос еще не вернулся, и он смог только отрешенно покачать головой. Румянец сошел с лица девушки — будто просто потух. — Значит, не вышли... — прошептала она в сторону, и вдруг стало ясно, что это вовсе не юная девушка, а взрослая, много чего повидавшая женщина.

— Откуда?.. — хрипло вырвалось у Бориса.

Лиза помолчала с полминуты, кидая быстрые взгляды на трясшегося крупной дрожью молодого человека, и, наконец, осторожно дотронулась до рукава его белого халата:

— Вы не замерзнете?

А он и не замечал, что стоит на морозе без теплой одежды, даже не понял, о чем она спрашивает, трудным оказалось только перевести дыхание:

— Вы воевали вместе? — спросил уже ровнее.

— Не успели, — криво усмехнулась она, — повоевать. Мы на сержантских курсах познакомились — еще здесь, в Ленинграде. А в эшелоне, когда на фронт везли, сговорились: если со мной что случится — она моих родных найдет, а если с ней... то я. Ну, моих-то родных... — ее руки в огромных брезентовых рукавицах отчетливо задрожали, но она справилась с собой. — Моих родных никто уже не найдет, а ее... На Васи-

льевский я ходила, от дома только одна стена сохранилась... Тогда я — сюда, думала, может, вас разыщу. И точно...

— Да что вы тут мямлите! — вдруг грубо выкрикнул Борис. — Говорите уж сразу! Она погибла?!

Лиза не обиделась — только чуть сдвинула брови:

— Не знаю. До части так и не добрались — эшелон наш почти сразу разбомбили, и мы, кто уцелел, попали в окружение... Впрочем, тогда это немудрено было. Мне осколок угодил — вот сюда... — девушка ткнула рукавицей себе куда-то в бок. — Кира меня перевязывала на какой-то кочке, а кругом грохотало и свистело — это я еще хорошо помню, но уже, знаете... Я словно не там была, а из другого места смотрела... Потом Кира с девчонками — и бойцы еще какие-то к нам прибились — тащили меня на себе через лес по очереди. Дальше — отрывочно... На какой-то проселок выбрались — там грузовик с ранеными чинят. У кабины врачаха молодая плачет, а рядом — весь в бинтах лейтенант с пистолетом. «Только раненых, — говорит, — возьму, остальные не поместятся. На полном ходу прорываться будем, может, в нас и не попадут. Проскочим — наше счастье, а нет — так ведь все равно хана». Когда поднимали меня в кузов, Кира рядом стояла и пыталась улыбаться сквозь слезы, кажется...

— Проскочили? — потрясенно спросил Борис.

— Как видите, — пожала плечами Лиза. — Воевала я после госпиталя на Большой земле, так что выяснить, что тут, как... сами понимаете. Да и столько я уже за два года... Кроме Киры... — она на миг зажмурилась. — Здесь я не в отпуске — командировку у командования выбила. Идти пора. Дел еще невпроворот... — она качнулась было в сторону, но остановилась: — Слушайте, а как это — у вас жена «без вести», а вас из Смольного не выгоняют?

— Я не знал... — прошептал он. — И до начальства, наверное, не дошло еще...

— Теперь дойдет, не сомневайтесь, — вздохнула она. — Ну... приятно было позна... то есть... В общем, удачи вам, — она протянула крошечную жесткую руку, которую Борис автоматически пожал.

На кухню он не вернулся — там, наверное, подумали, что к Борису приехала жена, и готовились к большому празднику — а медленно прошел прямо в хозчасть, в свою золотую от неожиданного сегодняшнего солнца комнату. Двигаясь скупно и осторожно, словно боясь резким движением взвихрить в душе неведомую и страшную бурю, Борис сел за письменный стол и машинально достал из ящика кольцо. Ничего не изменилось на столе — все было точно так же, как он оставил утром. Так же сдержанно улыбалась ему Кира со своей единственной фотографии, которая от нее осталась, — зато художественной, с тщательной ретушью — такой, что девушка выглядела гораздо красивее, чем в жизни. Только если раньше Борису казалось, что снимок каким-то образом соединяет его с женой, будто готовый распахнуть дверь в тоннель, устремленный сквозь время и пространство, пусть длинный и узкий, но ведущий к ней, то теперь — он четко это понял! — эта дверь была захлопнута навеки. Но странное дело! Одновременно чувствовалось, что есть где-то и другой путь, более надежный, но который еще предстоит найти...

Перед тем как убрать кольцо, Борис снова примерил его на левый безымянный палец, и, как всегда тугое, оно сначала дошло только до второго суставчика. Но то ли немые его пальцы еще сохранили жир выпотрошенных недавно кур, то ли случайно он подтолкнул кольцо сильнее, чем обычно, — только вдруг, причинив короткую боль, оно быстро проскользнуло через сустав и дальше оказалось совершенно впору.